



[ПАМЯТИ ПОЭТА]

Владимир ЛУГОВСКОЙ

(1901–1957)

К 120-летию со дня рождения В. А. Луговского

*К 65-летию выхода в свет первого номера альманаха «День поэзии»,
замысел которого принадлежит В. А. Луговскому*

Татьяна ПИСКАРЁВА

«ЭПОХА ЛЕЖИТ КАК ПОЛУНОЧНЫЙ ЛЕС...»¹⁵

«Подступиться к нему было просто боязно. Казалось – неприступный утёс. Его густой, властный бас, который мы слышали нечасто, стал окончательной, непреодолимой преградой. Так и не подходил я к нему, хотя очень хотелось. Он уехал. Спустя много лет, близко узнал его, убедился, что тот «утёс» является человеком нежнейшей души и детской доверчивости». Так писал о своей первой встрече с Владимиром Луговским Мустай Карим – сразу, как и многие современники поэта, ощутивший исходящую от того жесткую, сдерживающую силу, преграду, которая казалась очевидной и непреодолимой.

Полутона нежной романтической лирики сразу выгорали под новой беспощадной звездой – той самой, которая уже взошла над страной и, казалось, должна была гореть вечно, безгранично, во всем преображаемом мире.

Горит звезда багровая,
судьбу земли тая, –
Жестокая и строгая,
как молодость моя.

Новая поэзия послереволюционных лет постепенно теряла наивное юношеское бунтарство, и светлая романтика всё чаще высушивалась строгими партийными резолюциями, превращаясь в свою противоположность, в категоричность, демонстрацию вражды, доходящей до бессердечия.

«Эпоха лежит как полуночный лес», – таким видел своё время Луговской. И вовсе не благословен всяк в него входящий. Он оказался таким поэтом, который распахнул всего себя навстречу эпохе и был ею перемолот. Уязвлён – как если бы он был колеблющимся и сомневающимся.

Однако он не был ни «попутчиком», ни тем более врагом, не был предателем, подкормышем, дезертиром.

Был «утёсом», как заметил Карим – и одновременно подвижным морем, которое было вокруг. Обвинителем и обвиняемым. Каторжником и судьёй.

В тех обстоятельствах, которые ему предложило время, он чудом – с потерями – сохранил искренность и доверчивость, которые и сейчас, спустя немалые годы, через наслоения мрачноватой критики в его адрес, позволяют его стихам дышать.

ЗАМАХ ОТ ПЛЕЧА

Хорошая спортсменка, мой моральный доктор,
Однажды сказала, злясь и горячась:
«Никогда не ведите движений от локтя –
Давайте движенье всегда от плеча!»

«Моя первая книга «Сполохи», очень сборная по тематике, где была и гражданская война, и море, и стихийное удалство», – писал Луговской о своём первом сборнике 1926 года, который состоял всего из 24 стихотворений, позже дополненных ещё пятью. Позже выйдут «Мускул» и «Страдания моих друзей» – названия красноречивы и жёстки.

При разборе архивов Луговского обнаруживается, что стихи для первых книг перемешаны. «Архив поэта состоит из большого количества тетрадей, блокнотов, реже это отдельные листки. Стихи написаны большей частью карандашом, иногда чернилами, неразборчиво...» Скоропись поэта-свидетеля века, который обязал себя «давать движенье от плеча», пытался во всем соответствовать стремительности мускулистого времени – и благословить по-своему, порой нескладно и косноязычно, «новую поросль большевиков». А тем и смерть не указ: «...Смерть не для того, чтобы рядиться / В саван мёртвых, медленных веков...»

По ночам в непроходимой чаще
Времени всё чаще слышу я,
Как ревёт в крови моей летящей
Грузная махина бытия.
Я глядел в глаза твои большие,
Жизнь, праматерь смерти и любви,
Я хотел понятней, проще, шире
Каждой радости сказать: «Живи!»
Но штыком мне отворила зреньё,
Ослепила боем и людьми

Ненависть, которой нет сравненья,
Ярость, перестроившая мир.

Пушкинское «и он мне грудь рассёк мечом» было для Луговского буквально, почти осязаемым действием извне. Только не от руки Серафима на перепутье, а от всего, что пережил и видел в детстве и юности. Сначала это были события 1905-го года на Пресне, где тогда жила семья Луговских, известие про убитого дядю Петра, свидетельства «страшной сущности» первой мировой войны. Потом сводки про кулацкие восстания и белогвардейцев (в гражданскую Луговской был в войсках Фрунзе), сыпной тиф, работа следователем в Московском УГРО.

«Рассекло мечом» по живому, и никто никого из «чужих» уже не прощал, не щадил и не признавал.

«И вот как-то собрались мои одноклассники на общее собрание, и вдруг все поняли, что мы, шестнадцатилетние юноши, разделены одной непроходимой чертой. Одни не понимали и не узнавали других», – писал Луговской в своей автобиографии.

Мальчика, родители которого были людьми тонкими, книжными, думающими, интеллигентными, пережитое и увиденное навсегда отбросило в сторону большевиков.

ПРОЩАЙ, ЗОЛОТАЯ!..

... Одним рукавом Луговской был из Олонецкого края (по отцовской родне), другим – из реки Непрядвы Куликова поля (откуда приехала няня Екатерина Кузьминишна Подшебякина, угощавшая его сказками и «русской фантастикой»). Александр Фёдорович Луговской преподавал русскую литературу в Первой московской мужской гимназии, дружил со многими художниками, писателями, историками, актёрами, был знаком с Л. Н. Толстым – он был, по свидетельству сына, «не только литературоведом, но и историком, и археологом, знатоком живописи, скульптуры, архитектуры, а в особенности русской старины».

Романтик радостный, педант учёный,
Он, Луговской А. Ф., родной, беззлобный,
Он это знал. Он был началом века.
Он – прокурор и адвокат, но я –
Случайный, схваченный за хвост свидетель,
Седеющий от лжи.

Сейчас я могу видеть твёрдый, чёткий гимназический почерк Владимира Луговского на тонкой книжке стихов, посвящённой и подаренной моему деду. Чернила кажутся свежими и почти не выцвели, но трудно поверить, что той же рукой написаны строки, созданные так давно – но это они по-прежнему раскачивают за окном облетающие деревья осени, теперь XXI века, тревожат, волнуют своей печалью и недосказанностью. Передо мной строки свидетеля века, поседевшего не ото лжи – а оттого, что правда оказалась слишком сложной, а человеческая жизнь не вмещает многого.

Прощай, золотая,
прощай, золотая!
Ты лёгкими хлопьями
вкось улетаешь.
Меня закрывает
от старых нападок
Пуховый платок
твоего снегопада.

Молочница цедит мороз из бидона,
Точильщик торгуется с чёрного хода.
Ты снова приходишь,
рассветный, бездонный,
Дух русского снега и русской природы.
Но ты мне приснилась,
как юности – парус,
Как юности –
нежные зубы подруги,
Как юности –
шквал паровозного пара,
Как юности –
слава в серебряных трубах.
Уйди, если можешь,
прощай, если хочешь.
Ты падаешь сеткой
крутящихся точек,
Меня закрывает
от старых нападков
Пуховый платок
твоего снегопада.

ДАЛЕКО НЕ ПРАЗДНИЧНЫЙ ПУТЬ

«Я сообщаю героической Чека, / Что грандиозность Беломорского канала / И мысль вождя, что жизнь ему давала, / Войдут невиданной поэмой в века», – сочинил автор перевода песенки «Всё хорошо, прекрасная маркиза» поэт Александр Безыменский. Пока одни понимали, как важен для мировой революции Б.-Б. К. (так иногда называли для краткости грандиозную мрачную стройку) и иные не очень гуманные проекты – другие пошли, как нежелательный тираж, под нож.

Владимир Луговской стоял у истоков идеологически выверенного литературного курса, он был одним из учредителей Союза писателей СССР и в 1934 году присутствовал на предварительной встрече писателей со Сталиным, Молотовым, Ждановым и Постышевым в доме Горького. Ему же принадлежат такие поэтические строки поры репрессий, которые можно уравнивать с телеграммами Генриху Ягоде от литераторов-«туристов» («Что бы после ни писал Луговской, ничто не смоем подлости этого стихотворения, невиданного в традициях русской поэзии», – записал себе в дневник о таком размашистом «к стенке!» автор пьесы «Давным-давно» Александр Гладков).

Тем не менее, Луговской побывал «конструктивистом» и «попутчиком», был побит с трибун и в газетах (Валентином Катаевым) – но не до смерти, не слишком сильно, а до покаяния. Хотя за одно только «свирепое имя родины» в «Дороге» 1926 года мог заплатить.

От башен, запоров, и рвов, и кремлей,
От лика рублёвской Троицы.
И нет ещё стран на зелёной земле,
Где мог бы я сыном пристроиться.
И глухо стучащее сердце моё
С рожденья в рабы ей продано.
Мне страшно назвать даже имя её –
Свирепое имя родины.

«Такой непонятной и горькой улады / Не чувствовал я уже многие годы...» – «Жестокое пробуждение» 1929 года (как и «Дорогу») никак не мог написать поэт, надёжно и навеки пропущенный через директивы. Свой сон о России Луговской объяснял в 1939 году «дорогим товарищам Саше и Пете» (Александр Фадееву и Петру Павленко) таким образом:

«А “Жестокое пробуждение” было для меня этапным стихотворением – прощанием со многим дорогим для меня в русской жизни, прощанием для перехода к новым мыслям и новым задачам – к первой пятилетке. Эти стихи любили, их хвалили. Теперь я, русский поэт, органически русский, любящий свою Родину так, что не стоит и касаться этого святого для меня дела, жестоко, с огромной болью отказавшийся во имя революции от многого бесконечно дорогого для меня, – должен принять на себя обвинение в том, что я ненавижу Россию....»

«Жестокое пробуждение» на президиуме называли контрреволюционными стихами, а я-то их писал пусть глупо, пусть жертвенно, но целиком для Революции. Где же правда? Внутренняя настоящая правда художника? Значит, не нужны ни муки, ни жертвы, ни раздумье – весь сложный и тяжёлый путь художника, пусть даже совсем скромного? Скажите мне это, старые товарищи, или я буду писать, как Лебедев-Кумач, или совсем не буду писать... Мне нужна не помощь, не защита, нет, нужно объяснить, иначе творческий нерв не будет работать».

Зачем, спросит сегодняшний читатель, Луговскому хочется писать, как Лебедев-Кумач? Зачем ему переходить от летящих по его строкам наискось снежных хлопьев в первую пятилетку?

Зачем ему отречься от «горькой улады» своего прекрасного сна о женщине, Родине, любви, юности, сна, в котором «молочница цедит мороз из бидона, / точильщик торгуется с чёрного хода», отречься от стихов, в которых всё живо и бесконечно?..

Владимир Луговской выбрал «замах от плеча» и решительность, презрение и непонимание «других». Однако не о том были многие его стихи, а упрятать все их под директивы было иногда не по силам даже самому автору.

Выстрел отдалённый.
Кино без стекол «Арс».
На площади
белёный
глиняный Карл Маркс.
Слепил его художник,
потом в тифу пропал.
Звезда из красной жести.
Дощатый пьедестал.
Звезда из красной жести,
лак или крови ржа.
В середине серп и молот,
лучи
острей ножа.

НО РИТМЫ СОШЛИ С УМА

Многое, что было дано Луговскому ещё до рождения и жило в его отце и матери, а потом и в нём, что встречалось на пути – противоречило зеркальному отражению.

«Я не ястреб, конечно, но что-то такое замечал иногда, отражаясь в больших зеркалах...», – писал он о себе по-детски, без взрослого позёрства, а с некоторым недоумением.

Внешнее сходство очевидно, и врагов (истинных и мнимых) он поклёвывает со знанием дела – казалось бы, не в чем тут сомневаться, поэтом Луговской был раскатистым

и злым. Так почему же он сочетает несочетаемое, колючие лучи звезды – со светлым и беззащитным? Почему не замечает очевидных несоответствий?

... Тревожный холодок дурмана
От губ
 твоих,
 от крутизны.
Холщовые одежды лета.
Над штабом –
 красная звезда.

Через годы, уже после издания тяжеловесных томов поэта, о многих его бесконечных монотонных стихотворениях будут говорить как о примере словесного недержания – и, конечно, справедливо. Сам Луговской под конец жизни записал в дневник: «... и вижу всё, и в каждой строке вижу недостатки».

В его поэтической речи оказывалось много пафоса и ненужных, высоко взятых нот. Хорошо слышен длинный, заунывный и требовательный гудок заводской трубы, от которого и не ждали живости или разнообразия. То и дело выскакивает в строках Луговского звезда или воплощение ума, подвига и славы – мумифицированный вождь (Ленин-Сталин), скромный, мудрый и великий. «И Ленин смотрит / вечными глазами/ В такую даль, / что и сказать нельзя».

Стихотворные строчки на скакивали друг на друга, как слепые лошади в табуне – однако истинная поэзия Луговского всё-таки сама себя не затоптала. Недаром его считали учителем многие состоявшиеся поэты (в их числе К. Симонов, Е. Долматовский, С. Наровчатов), ценили гении литературного слова Анна Ахматова и Константин Паустовский.

Многие его стихи маркировали непростую эпоху так безжалостно и точно, как удалось далеко не всем современникам Луговского. Не от того ли, что он улавливал бесценное – ритм века, неровный, бешеный, жестокий? «Но ритмы сошли с ума. / И даже на дряхлом Смоленском рынке / Ломают они дома. / И конницей мчатся с гуденьем и гиком, / Расхристанные догола. / И сотнями рук на Иване Великом/ Раскачивают колокола». Пронзительность стихов Владимира Луговского шла не от наигранного страдания. Во многих строках ясно говорилось не только о боли настоящего, но и муке будущего.

Летают и кружатся пары –
Ребята в скрипучих ремнях
И девушки в кофточках старых,
В чинёных тупых башмаках.

Оркестр духовой раздувает
Огромные медные рты.
Полгода не ходят трамваи,
На улице склад темноты.

...

Навек улыбаются губы
Навстречу любви и зиме,
Поют беспечальные трубы,
Литавры гудят в полутьме.

ПОЩАДИ МОЁ СЕРДЦЕ

«Прощание для перехода к новым мыслям и новым задачам» оказалось для Луговского длительным по времени движением, протяжённым надломом, в который потом уже встраивались другие трагедии и переживания.

После контузии (его эшелон в 1941-м попал под бомбёжку на станции Пскова), поэт оказался в тылу и, по хлёткому слову Константина Симонова, превратился из человека здорового и весёлого в «грудку развалин».

Луговской, который смолоду перевидал всякое, был на фронте и услышал (пораньше, чем Симонов), как «эпоха, челюсти разъяв, начала рычать о своих секретах», был надломлен не у разгромленного эшелона, но гораздо раньше. Пережитое сказывалось заметно. Описывая впоследствии воображаемого прохожего в Лондоне, он будто бы бормотал сам про себя:

Нет ничего на меловом лице,
Лишь пуговицы в каменных глазницах.
О, боже, боже, он смертельно пьян,
Пьян много месяцев, пьян беспробудно!

«Володя пил страшно, и вдруг как отрезало», – вспоминала сестра Луговского Татьяна. Каменные глазницы вновь оживали, в эвакуации в Ташкенте Луговской читал свои стихи Ахматовой. «Когда Луговской был пьян, – вспоминал его молодой современник, – он разговаривал с деревьями. Выбирал себе собеседника по росту. Был у него излюбленный собеседник – почерневший карагач у ворот. Дерево было расщеплено надвое молнией. Иногда он приходил к Анне Андреевне и читал ей отрывок из своих новых стихов. Анна Андреевна тогда отодвигала свой стул в тень и молча слушала его».

Пощади моё сердце и волю мою укрепи,
Потому что мне снятся костры в запорожской весенней степи.
Слышу – кони храпят, слышу – запах горячих коней.
Слышу давние песни вовек не утраченных дней....
Укрепи мою волю и сердце моё не тревожь,
Потому что мне снится вечерней зари окровавленный нож,
Дрожь степного простора, махновских тачанок следы
И под конским копытом холодная плёнка воды.

СИНИЙ ЖУК

Ночь, ветер и пустыня – вот стихии, которые не столько были близки и понятны Владимиру Луговскому, сколько требовали, как он полагал, поэтической расшифровки.

«Для меня всегда были страшны утра. Большинство моих стихов расположены в пейзаже ночи. Ночь понятнее, цельнее и ближе к истине, потому что только ночью выходят созвездия, ощущается безграничность мира, не прикрытая лживой голубизной дня, – не без романтического пафоса размышлял Луговской в письме к жене в 1929 году. – Я приветствую культуру XX века, она становится ночной. Театр наш – не открытая солнцу каменная чаша греков и римлян. Перед началом действия наступает темнота. Мы живём при искусственном свете...»

А в 1936 году он напишет совсем иначе про закрытый от солнца Берлин: «... И чёрта вызвали, и он сидит / На Бранденбургских аспидных воротах».

Ветер и простор помогали исцелению. «Только начнётся дорога, ветер с юга, пыль, шоферы... – старый чертовский хмель бьёт мне в голову... – и всё в порядке – и снова

верю в свои силы, в старую молодость, в великого Бога Странствий и Путей...» (письмо 1947 года).

«У Луговского было качество подлинного поэта – он не занимал поэзию на стороне. Он сам заполнял ею окружающий мир и все его явления, какими бы возвышенными или ничтожными они ни казались» (Константин Паустовский, «Горсть крымской земли»).

... «Синий жук» Владимира Луговского – одно из тех его стихотворений, где вопрос о связи значительного и ничтожного, суетного и необходимого, фрагментарного и необозримого, об относительности их масштаба и ценности остаётся – как это и принято в настоящей поэзии – сложным, волнующим и открытым:

Так увидел я
самое тайное
в книге земли –
Несравненный простор,
голубую дорогу вселенной.
Как же это случилось,
что руки твои
не смогли
Удержать для меня
этот маленький груз
драгоценный –
Огневого жука?..